



А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Красное колесо

<Фрагменты>

От Торнео в одном вагоне с врачами ехало семеро возвратных эмигрантов — все из Нью-Йорка, там они кучились в какой-то газете и так, кучкой, спешили теперь на революцию. Лидер их Троцкий, лет под сорок, пружинный, быстрый, с высоким лбом, с богатой копной чёрных волос, в пенсне, ехал с семьёй — женой и двумя сыновьями, лет десяти и восьми, довольно избалованными, но уже и с отцовской остротой, жадно слушали разговоры взрослых.

<...>

Спешили — а их в Канаде задержали англичане дольше трёх недель, — и они очень негодовали все, а особенно едко Троцкий:

— Канальи! Мы, революционные интернационалисты, устояли в величайшей мировой катастрофе на позициях анализа, критики и предвиденья, — чётким голосом звучал он в вагонном коридоре, — мы безупречные русские революционеры, и они это знают, а имеют наглость обращаться с нами, как с преступниками! И освобождали — тоже с насилием, не объясняя куда, взять вещи — и под конвоем. Ну, я сейчас Бьюкенена припру к стенке! И Милюкову тоже не поздоровится!

Он был очень нервен, да и другие с ним.

У самого Троцкого история тянулась ещё сложнее: он и в Америке был лишь недавно выслан из Испании, и с большой обидой ругал испанские власти. А перед тем был выслан из Франции — и уж Францию и деятелей её искалывал саркастически. А всё произошло потому, считал он, что Европа до последнего издыхания царизма лежала под его лапой.

От поспешности, которая так и была из уст и глаз эмигрантов, — врачей охватывала тревога: что там правда делается впереди? Может быть — необратимое, чего мы совсем не знаем и куда вот

не успеваем, опоздали? После застойных месяцев ощущали познобляющий напор этого внезапного темпа.

И конечно, между врачами и эмигрантами завязались споры. И весь день вчера не столько смотрели в окна на гущи елей, на росступ озёр, ещё подо льдом и снегом, на обкатанные дивные валуны — сколько друг на друга, с удивлением и раздражением, такие неожиданные были эти другие: страдания пленных были им ничто? а Германия — не враг? и Англия — хуже Германии?

Эмигранты подёргливо не скрывали своего пренебрежения к простодушному патриотизму врачей.

— Взгляды, которых не могу принять, — изгibal Троцкий крупные насмешливые губы, — как не могу есть червивую пивцу. Гонят человеческую саранчу на войну, я этого навиделся ещё на Балканской. Забывают, что у солдат тоже есть нервная система. И что матросы — не самая малоценная часть военного корабля. А матросы во всех восстаниях всегда самое взрывчатое. Нет, война кончена, война проиграна, из неё надо немедленно выходить!

Врачи изумлялись: так что ж? пусть наши губернии, и кусок Франции, и вся Бельгия и Сербия остаются под немцами — а мы предадим тех, кто нам верен, и протянем руку тем, кто хочет нас задушить? Просто — не воевать дальше, а Россию пусть ограбят и опозорят? Как можно новую русскую жизнь начинать с растраты национального наследства?

Эмигранты сыпали в ответ: война была реактивом замыслов капиталистов всех стран... социально соблазнённый пролетариат... перерезывают друг другу глотки во имя интересов своры богачей, мошны капиталистов...

Так что? получается — *не важно*, кто начал войну? она бы *всё равно* началась? замыслили капиталисты всех стран, не важно, что начала Германия, она как бы и не начинала?..

Сперва Федонин¹ больше говорил с каким-то крайне неприятным, невежественным, но агрессивным типом, Володарским, — с лихорадочными глазами и лихорадочной быстрой речью, с сильным акцентом. Он швырял:

— Да русская армия неизменно была бита и в XIX и XX веке, она годится только против отсталых племён!

Это слышать было невозможно! что он говорил офицерам той самой армии! Но тут на выручку ему поспешил красноречивый, легконаходчивый Троцкий:

— А что же можно найти бездарней, чем русские войны и русская внешняя политика за последние сто лет? Только и могли гнать туркменов да теснить китайцев. А то всегда: не те союзники, не те цели, не те способы и не в тех местах! Кого благодетельствовали — Австрию, Болгарию, все натянули России нос. От Крымской — проиграны все войны подряд. Одну выиграли — на зимних перевалах, огромной кровью, — так ещё хуже проиграли за берлинским зелёным столом. Это ещё чудо, что Россия не крахнула раньше, царская дипломатия всё к этому вела.

И опешишь. И сразу не найдёшься. Вспоминать Отечественную войну? Только и остаётся. Ну а — сейчас:

— Ведь Германия же первая напала на нас?

Да не на того напал Федонин.

— Не нужно нам этого вероломного безпристрастия в плоскости фальшивого объективизма!

Тут, в вагонном разговоре, Троцкий, кажется, и двадцатой доли своей энергии не дарил, но внимательно выщупывающие глаза за пенсне иногда не удерживали вспышек.

— Война так запредельно ужасна, что рабочий класс *каждой* страны её не простит. И, возвратившись с войны, — сметёт буржуазный порядок в *каждой*.

— А если не сметёт?

— Ну, — обильные полустоячие волосы его подрагивали, — тогда я стану мизантропом. Это будет в *каждой* стране, и поэтому не важно, кто сейчас формально окажется победителем, важно бросать оружие и не поддерживать войны ни часа. Мир идёт — к полному объединению. И всякая попытка отстаивать независимость отдельной страны — реакционна.

— Ну так всё и захватит Германия!

— Нет, всё захватит международный революционный пролетариат. Но как переходная ступень, — не совсем охотно оговорился, — что ж? Германия по своему капиталистическому развитию так далеко ушла и обладает такими колоссальными экономическими и культурными ресурсами, что она единственная могла бы, в случае победы, объединить весь цивилизованный мир и так сыграть прогрессивную роль.

Нет, Федонин не мог этого понять! Просто — не воевать дальше, а условия мира выработают социалисты на какой-то конференции? Да разве может инстинкт народной жизни принять непротивление злу во имя какого-то Интернационала?

А Троцкий — не только так думал, он — непобедимо был уверен, что именно так! Он всем видом показывал, что переубедить его — нечего и пытаться. (И он, конечно, очень нравился сам себе, но — это было в нём не главное, нет.)

— Да вы знаете, — из опыта говорил ему Федонин, — что в немецкой армии каждый третий — социал-демократ? Но все они железно подчиняются канцлеру.

В глазах Троцкого приплясывали огоньки, что он превосходит вас и умом, и знанием истины, и даже что бы с вами разговаривать? Но процесс говорения доставлял ему явное удовольствие, он, кажется, сам искал свежего собеседника, свои спутники ему уже надоели.

— Это — социал-демократы прошлого. Будущее — уже не за ними.

Социал-демократы тоже разные? Федонин, и вообще теперь замедленный, не успевал ответить ему.

— А вы сами — какой партии?

На высоко держимой голове Троцкого с крупными ушами чуть потрясывались его неулегаемые волосы.

— Всё будет решать не голос партий, а голос классов. И средняя равнодействующая классовых лагерей. Я горжусь, что принадлежу к тому классу, который бросит зажжённый факел в пороховые погреба всех империалистических держав!

К какому ж это классу? — не переспросил Федонин.

За всем этим была, кажется, и сила характера, и сила мыслей, не наспех придуманных. Если отвлечься от его крайних суждений — в нём было и что-то привлекательное, располагало.

— Метод буржуазии — это война между государствами, метод пролетариата — революция. Развитие народов выдвигает такие задачи, которых нельзя разрешить другими методами, кроме революции. Революция есть неистовое вдохновение истории. А в России революция безповоротно решена ещё в Тысяча Девятьсот Пятом — и её никак не могло не быть сейчас. И теперь зубчатые колёса войны обломают свои зубья на шестернях революции. С уст его с лёгкостью сходили афористические фразы. Он даже будто и не искал, как повернуть их, чтобы блеснуть, они сами такие сходили:

— Мы берём факты, как они даются объективным ходом развития, в могучих возможностях классового мышления. Кто хоть немножко понимает язык истории, для того эти факты не нуждаются в пояснениях. Великие движущие силы истории, конечно,

имеют сверхличный характер, но я не отрицаю и значение личного в механике исторического процесса. Как мог удержаться на русском троне этот моральный кастрат, тривиал, лишённый воображения, такая же лапша, как Людовик XVI? До удивительности повторял его, да и царицы одинаковые, у обеих куриные головы. Да в общем, такая же парочка была и Карл I с Генриеттой Французской, так же и тот оставил свою голову на перекрестке. Но осушать слезы помазанников не наша функция. Английская и Французская революции потому и были великими, что разворотили свои нации до дна. И полуазиатская династия Романовых была, несомненно, об-ре-че-на!

В силе своего слова и мысли уверенный абсолютно, он ввинчивал ещё это не-сом-нен-но, чтобы держалось крепче. (Да и не поспоришь, теперь — виделось так?) Больше того, он, кажется, заранее был уверен и в той мысли, которая ещё только созреет у него следующая, ещё неясна ему сама:

— Всё это — историческая диалектика. Это — великий естественно- исторический процесс, идущий от амёбы к нам и от нас дальше. Века проходят, пока пробьётся толстый череп человечества. Оно так медленно учится! Но самодовольная ограниченность правящих классов всегда помогает созреть очередному этапу революции. Что наше дворянство не научилось на опыте Великой Французской, может показаться противоречащим классовой теории общества? Нет, только примитивному пониманию её.

Это так и сыпалось искрами. И всей интонацией он внушал бесполезность всяких возражений.

И оба его мальчика тут же стояли, остро слушали. Может быть, больше для них он и говорил.

— И революция совершилась совсем не стихийно. Пожар Суда? сгорели нотариальные акты собственности? какой ужас! Не стихийность и не партии, а молекулярная работа революционной мысли сознательных пролетариев, вот они и направляли. Лучшие поколения революционеров сгорели в огне динамитной борьбы — а теперь вступили простые рабочие.

Федонин всматривался — он никогда таких не встречал. И сколько в нём жизненной энергии.

— Скучность неудавшейся русской истории. Рыхлость старого русского общества, худосочность претенциозной интеллигенции. А Россия — ещё и безумно отстала, и вынуждена проходить свою

политическую историю по очень сокращённому курсу. И русская революция — не закончена и сегодня.

— Ещё не закончена? — ужаснулся Федонин. — Да чего ж вы ещё хотите нашей несчастной стране?

— События развёртываются во всей своей естественной принудительности, — неумолимо отсекал Троцкий. — У этой революции будет вторая стадия, и пролетариат возьмёт власть и установит свою диктатуру.

— Простите, — вот тут упёрся Федонин. — Зачем же диктатуру? Всё-таки у нас представления о революционерах, хотя они там кидают бомбы, что они же хотят-то свободы? демократии? Революция делалась для свободы, я так понимаю?

— Нет, не так! — снисходительно чеканил Троцкий. — Всякая революция — это скачкообразное движение идей и страстей. Россия уже перешагнула через формальную демократию, она нам не нужна.

— Что вы говорите! — почти вскрикнул Федонин, другие в коридоре обернулись. — Уже и демократия не нужна? Но, кажется, ещё не придумали устройства выше?

— Не нужна — вульгарная демократия. Она уже исторически выродилась.

— Вот то, что сейчас и было в Петрограде? — стрельба в толпу, и чтоб скинуть уже и Милюкова?

Сильные губы Троцкого под густой щёткой тёмных усов и над крюкастой бородкой сложились в презрительную линию:

— Милюков — прозаический серый клерк. Не его вина, что у него нет патетических предков, и даже не обладает он византийским скоморошеством Родзянки. Архимед брался перевернуть землю, если ему дадут точку опоры. Милюков, наоборот, искал точку опоры, чтоб сохранить помещичью землю от переворота. На вопросах о земле и войне кадеты свернут себе шею. Их зависимость от старого правящего класса давно торчит как пружина из старого дивана. Да, Победоносцев понимал народную жизнь трезвей и глубже их. Он понимал, что если ослабить гайки, то всю крышку сорвёт целиком. Так и будет! И выразительный подвижный рот его сложился хищно.

Он так уверенно всё объяснял в революции, как будто ехал не *туда*, а *оттуда*.

— Кадеты хотят использовать войну против революции. Антанта для них — высшая апелляционная инстанция. Эти госпо-

да лишены чувства смешного. Я давно не имею о них никаких иллюзий и давно примирился прожить свою жизнь без знаков одобрения от либеральных буржуа. Либерализм мутит источники и отравляет колодцы революции.

— Но какая ж это всероссийская революция? Так можно понять из сообщений, что всё происходит в одном Петрограде и решается им?

— Юридический фетишизм «народной воли»? — Этот риториче- ничем не затруднялся. — Если революция обнаруживает центра- лизм, столица действует за провинцию, — так это неотразимая потребность. Это — не нарушение демократизма, а динамическое осуществление его. Но ритм этой динамики нигде не совпадает с ритмом формальной демократии. И нет ничего более жалкого, чем морализирование по поводу великих социальных катастроф. Тут — обнажённая классовая механика. Пробуждённые массы, гордые своими успехами, теперь осуществляют великолепное буду- щее!

Он с большим чувством выговаривал это «великолепное», — как будто зримо видел его через вагонное окно. Или о деталях револю- ции, вычитанных из газет, но будто сам был им живой свидетель: «замечательный эпизод!.. неподражаемый жест!.. непревзойдённая способность закалённого пролетария!» — и, странно, затягивал слушателя в своё восхищение. В нём было-таки что-то обольсти- тельное, притягательное, невольно хотелось согласиться с ним, поддаться ему. Да вот что: если б не эти его громовые, отсекающие фразы, в другие минуты их разговора — это был вполне понятный, интеллигентный человек, притом незаурядно острый, очень ин- тересно с ним говорить.

А то проскальзывали какие-то надменные оговорки: «Ничем не могу помочь их печали... я не тороплюсь уплывать по этому счёту... остаётся соболезнующе пожать плечами...» — и станови- лось не по себе.

Этого человека стеснял вагон. Он — рвался, опережал ход по- езда. В крайней напряжённости, как бы перед скачком.

О-о, он ещё наделает дел! Это — штучка.

Сейчас он, кажется, более всего опасался для России «мини- стериализма» и «парламентского кретинизма».

— А помогли бы некоторым ослам машины, укорачивающие людей на длину головы. Да никуда не годился бы тот революци-

онер, который не стремился бы поставить на службу своей программе — государственный аппарат принуждения. Его нервность начинала болезненно заражать и Федонина. Что-то непоправимое упускалось! Чего-то никак нельзя было упустить!

— Но в чём программа? Что может сделать малость вашего пролетариата в поголовно крестьянской стране?

— Да, — усмехнулся Троцкий. — Мужичкий ум лишён размаха и синтеза. Они улавливают только элементарное. Крестьяне изорвали на онучи знамя Желябова. Они поймут, когда по ним пройдутся калёным утюгом.

И, видя как Федонин отшатнулся, ещё утвердил:

— Да, в школе великих исторических потрясений надо уметь учиться. А по слабым — жизнь бьёт!

Но при всей его страстной речи и огнистых глазах — како-е-то высокомерное холодное отчуждение насажено на него как броня. Он был горяч — но был и холоден одновременно.

Уже к ночи прекратились разговоры.

А в Белоостров поезд пришёл в четвёртом часу утра, при первом свете, — и тут в вагон хлынула шумная компания друзей этих эмигрантов. Они остро, пересыпчато заговорили уже только между собой, тарабарскими терминами, на революционном жаргоне.

А их же поездом, но в другом вагоне, ехал известный бельгийский социалист Вандервельде, даже, кажется, председатель их же Интернационала, — но к нему они не шли, и Троцкий вчера не ходил. Когда поезд пришёл в Петроград в 6 часов утра., — солнце уже не низко, а город спит, — Вандервельде встретили с бокового подъезда трое бельгийцев с чёрно-жёлто-красным флажком на автомобиле. Врачей — два чиновника из Красного Креста. А семерых эмигрантов — сотни людей, собравшихся с вечера, не ушедших с вокзала и за ночь: с красными флагами рабочие, с нарукавными красными повязками вооружённый винтовками рабочий отряд. И на руках понесли Троцкого в парадные комнаты вокзала, там речи.

<...>²

Если б не продержали его 26 дней в Канаде, нет, если б не выслали его осенью из Франции, — да уже давно бы он был в Петрограде, и всю революцию завернул бы иначе! (Надо найти форму рассказать России об этих 26 днях. Газетное письмо? — теперь Милюкова нет, жаль, ускользает, — так Терещенке?) А — что тут наделали?! Какая убийственная ошибка была — в первые же дни отдать власть

буржуазии! безоружной и изолированной буржуазии! — при том, что армия и рабочие поддерживали только Совет! Ложная мысль: лишь бы буржуазия не отошла от революции?.. Политическая импотенция меньшевиков. Испугались своей несостоятельности, акт протрации. (Обречённость мелкой буржуазии в капиталистическом обществе.) Преступление против революции! Тайный заговор против власти народа и его прав. И состряпали ублюдочный февральский режим, какая расплётённость сил демократии! Единственный достойный документ — Приказ № 1. А весь Манифест 14 марта — уже, по сути, солидаризация с союзниками. А как можно было разрешить выходить всей печати? Печать — это ведь оружие, и право на буржуазное слово никак не выше пролетарского права на жизнь.

Правда, и отпетые буржуазные дурачки не многое взяли — полуконтрабандную власть. Ходят вокруг костра революции, кашляют от дыма: пусть перегорит, тогда попробуем что-нибудь изжарить. А оно — не перегорит. Кадеты очень убедительно объясняют крушение царя — только не знают, как самим избежать такого же крушения. Многословное упущение времени.

Опоздал.

Как теперь врезаться в уже идущий ход событий — и энергично занять достойное место? Держать в руках — нить общего, без мелкого эмпиризма. Вожди революции отбираются десятилетиями, и их нельзя сменить по произволу. Ход событий может быть только продолжением тех, что оборваны 3 декабря 1905 года арестом первого Петербургского Совета,

Увы, нет своей партии, нет своих людей. Группка эмигрантов, с которыми он приехал, ещё, может быть, и понадобится ему, но он уже откололся от них. Он вступал в революционное море как великий пронзительный одиночка. Что встретили Урицкий и Карахан в Белоострове — подбодрило. (Они — от «объединённых интернационалистов», тоже их полтора человека.) Пригодятся и они. От большевиков прислали — третьестепенного, кислый жест. А от группы Мартова — совсем никого. Запомним.

Нет своей партии, никто не приготовил и помещения для жилья. А в Петрограде с ним сейчас, говорят, — обрез. Да, Наташа, нашим кочевым душам ещё далеко до гармонии. Где-нибудь посади сыновей и езжай ищи жильё. А я — сразу в Таврический!

Да он ещё до встречи знал о них всё насквозь. Ограниченные люди. Чхеидзе — честный и недалёкий провинциал, неуверенный

в себе. Стеклов — безформенный радикал, но с огромными претензиями. Суханов изощён в своём маленьком ремесле: переводит на язык доктринёрства бесилие Исполнительного комитета, но всегда умничает и тем надоедает. Церетели и Дан — умственно по колено Мартову. (И вот кому Юлик по безволию передал руководство своей партией.) Церетели — радикал южнофранцузского типа, обтекаемый путаник без резкой ясности мышления: не отликает готовые мысли в словах, но растянутыми фразами ловит-вытягивает мысли. Феноменально узкий политический кругозор, только Грузия и 2-я Дума, а никакого международного полёта, и образование поверхностное, даже не журналист. Дан — рассудительный немецкий с-д эпохи упадка. Либер — пронзительный кларнет меньшевиков. Ещё вот Скобелев — бывший подручный студент Троцкого, энергичный и глупый, отдался теперь под влияние меньшевиков. Чернов — сентиментально-ненадёжен и скорей начётчик, чем образованный человек, разговаривает набором готовых цитат, но никогда сам не знает, куда ведёт. (Не раз сражался Троцкий с ним на докладах за границей.) Авксентьев — карикатура на политика, обаятельный учитель словесности в женской гимназии.

Да вообще — эсеры? — неудобоваримая мешанина исторических наслоений, дутое сборище всего безформенного и путаного. Грандиозный нуль. Но — «земля и воля», и за ними валит деревня; а меньшевики — городские, в деревне — ничто.

Кто там ещё в Исполкоме? Керенский? Кажется — не между ними теперь, всё слепнет от вспышек магнаия, да он — достойный преемник Гапона.

И — ни у единого здесь нет настоящих заслуг перед революцией Пятого года. А захватили все места над Советом, даже смысла которого они не понимают. Совет Пятого года — то были вожак всеобщей стачки. А эта нынешняя верхушка собралась помимо заводов и полков. Революцию делали не они, а рабочие. А эти — пришли и уселись. Классическая инициатива промежуточных радикалов — пожать плоды борьбы, которую вели не они. Прикрылись традициями Пятого года, а сами — подделка.

Жалко провели они и эти бурные апрельские дни — и, вместо того чтобы сшибить буржуазию, склонились в коалицию с имущими классами. (В сегодняшних газетах — уже состав правительства.) Вероломные соглашатели.

Что ж, диспозиция политических групп приобретает тем большую ясность.

С нею — Троцкий и вошёл в заседание Исполкома, гордо держа голову. Он знал своё превосходство над каждым из них в отдельности и над ними всеми вместе — свою подготовку подготовку, школу, способность к обобщающему мышлению, политическую волю, — но неразумно было выразить это сразу, не считаясь с обстановкой. Да возглавлять *этих* здесь, потерянных? — нет, не это была задача.

Не вскочили, не жали рук наперебой. Чхеидзе довольно сухо поздоровался с ним, указал на стул садиться.

Встал Церетели поздороваться. Красивые заволочнутые глаза. Но мнит себя — главным вождём революции? Смех. Да если на него пойти прямо, твёрдо — он не выдержит, посторонится.

Шло заседание, очень вялое. Разложены бумаги. Власть бумаг. Разве так с ними расправляться! Да кажется, многие не выспались из-за министерской торговли, а тут как раз надо обсуждать, что же практически меняется в положении Исполкома при коалиции.

Нисколько не были сотрясены его приходом. (И даже не спрашивали о Галифаксе.)

Они — ещё ничего не поняли.

Поражала скучная обыденность обстановки, лиц, движений, голосов. Всё-таки когда шёл сюда, думал: ведь штаб Великой Революции! Впервые в истории реальная власть над страной у социалистов. Может быть, они тут оживели, выросли, несут в себе это горящее сознание? Понимайте же, с какой осанкой надо говорить и двигаться: на вас смотрят Века!

Нич-чего похожего...

Неподалёку сидел Каменев, зять, муж Оли, прислал милую записку: очень рад приезду, сейчас предложит включить его в ИК.

Троцкий смотрел по лицам. Гоца — видел впервые.

Скобелев издали глупо улыбался. Потом подсел: что думает Лев Давыдыч, что вот — он стал министром?

Не ответил ему резко, может, ещё придётся использовать его. Мрачно сидел грузный Стеклов. (Может пригодиться в союзники?)

В перерыве подошёл суетливо-радостный Крото в скин — и сразу звал вступать в межрайонцы.

Межрайонцы? Может и подошли бы, направление у них неплохое. Но чисто-петроградская партия, за пределами города её не знают.

С этим ласково поговорил. Обдумаем.

Шушукались в перерыве — и потом проголосовали: дать товарищу Троцкому в ИК совещательный голос.

Всего-то? Пигмеи.

О-поз-дал.

Если вспомнить, как они обнимаются с Тома — предателем французского рабочего класса, Троцкий громил его ещё в Париже. А теперь, безусловно, будут нянчиться с Вандервельде — блеклым компилятором, только потому председателем Интернационала, что нельзя было выбрать ни немца, ни француза, — убогие! Разве они способны понять, что революция наша — совсем не узко-российская, что она — уже как дальний гром накатывает в высоту, вот-вот перекинется и на Германию, и на Австро-Венгрию — и на всю Европу?

И что без европейской революции — немислим и прочный успех нашей.

Вырваться из этой камеры обречённой! Сам заявил: сегодня пленум Совета? Его первый Председатель хочет выступить с речью.

Проглотили. Не могли отказать.

Всё-таки победа. Теперь одной превосходной речью можно вас всех перевернуть и переизбрать снизу! Сила оратора неутомительного, лёгкого: когда говорит в тебе нечто, мощнее тебя самого. Из глубин твоих взмывает подсознательное — и струит сознательную работу подготовленной прежде мысли. Да если у тебя ещё несравненная революционная интуиция! политический глазомер!

Нет, подождите, мы ещё покажем, как в настоящей огненной революции — реют!

Конечно, на Совете поостережётся, о войне не скажешь прямо: «штыки в землю!», как надо бы. В ходе революции пролетариат постигает свои истинные задачи методом последовательных приближений. Ведь угнетённым классам, как говорил ещё Марат, всегда не хватает знаний и руководства. Но они отлично ассимилируют элементы агитации. И мы — обязаны их нести.

Нет, не этой надстройкой Исполнительного комитета надо завладеть, а именно, только и прямо — самим большим Петроградским Советом. Поднять на штурм — Совет! Воскресить несравненный Пятый Год! — и Россия наша!

<...>

После заседания ИК ещё поговорили со Львом Борисычем, он звал приходить сегодня к ним обедать, «Оля будет рада». (Чего

она там будет рада? По недоразумению и в революцию пошла, да со псевдобарскими ужимками, о всех событиях и партийных людях хищно кидается разговаривать, ничего же в них не понимая.) Каменев пока был в ссылке — родственники сохранили его устроенную квартиру в Петрограде, но не настолько просторную, чтобы сейчас поместить и Троцких. (Наташа за эти часы нашла одну комнату на них на всех четверых в каких-то захолустных «Киевских номерах».)

Поговорить с Каменевым полезно: позондировать всю большевицкую почву. Попросил у него папироску (сам курил редко, не носил). Каменев — умный: с лёгкой усмешкой в прищуренных глазах, он-то понимает, что за эти годы не Троцкий сменил позицию, а Ленин стал троцкистом, только никогда не признается.

Каменев не лишён теоретической подготовки и вдумчивый журналист, но недостаток его: что, ухватив идеи Ленина, всегда истолковывает их в мирном смысле. До приезда Ленина он вёл партию более чем умеренно: всё опасался перейти границы демократической революции. Вот — зять, рядом, — но и его не увлечь в вихревое движение.

А все остальные у них — беспомощные. Если в новый ЦК опять выбраны такой грубый обрубок без кругозора, как Сталин, или совершенно неспособный к теоретической работе безформенный агитатор Зиновьев. И остальные не лучше.

Да и — нет же людей, вообще. Одни развеяны по Европе — где-то Иоффе? Рязанов? Луначарский? Да последние два и под большим сомнением. Революционный централизм — повелительный и требовательный принцип. К отдельным людям и даже целым группам вчерашних единомышленников он нередко принимает форму безжалостности. На двадцатилетнем революционном пути уже много их промелькнуло таких, кто шёл как будто рядом и был нужен, а потом — нет, обременителен, и даже вреден. (В частности, этот принцип верен и к родственникам: малейшая слабость к ним — измена революции.)

Оправдать такого рода личную безпоощадность может только высшая революционная целеустремлённость, свободная от всего низменно-личного.

Вот, узнал: Раковский в Петрограде. Это подарок. Замечательный революционер. Болгарин по происхождению, румынский подданный, французский врач по образованию, русский по связям,

социалист по деятельности — и ещё хватало энергии вести своё наследственное имение на берегу Чёрного моря. Очень сдружились с ним, когда Троцкий корреспондировал с Балкан. Все усилия применял, чтобы Румыния не выступила против Центральных держав. И наказан румынской тюрьмой, и освобождён русской революцией, — живой дух Интернационала!

Но — мало. Не то что партии — группы не создашь.

Хотя? — поехать, воспламенить Кронштадт? Уже и так зажжённый.

Нет, наплывает форштевнем корабля неизбежный: Ленин.

Какую линию взять к Ленину?

Трудно забыть все обиды на него. Звал: пустомелей, пустозвоном, фразёром, революционной балалайкой, полуобразованным болтуном, стряпчим по тёмным делишкам, подлейшим карьеристом, лакеем буржуазии, Иудушкой — всё в памяти горит, не забыть и не простить. И вот уже во время войны заявил, что Троцкий — такой же предатель, как Плеханов. И украл себе название «Правды». Из одной ревности не признавал теорию перманентной революции — а теперь молча перехватывает и её, только смахнув авторское название.

Настолько уже разошлись: два предвоенных года жили оба в Австрии — и не встречались. В 1914 Троцкий был в Цюрихе — не потому ли Ленин сразу поехал в Берн? Неизбежно встретились только на повозках, везущих в Циммервальд, — но и в Циммервальде Ленин пытался помешать Троцкому получить полный голос.

А самое острое столкновение было лет семь назад — когда случайно встретились на немецкой станции по пути на Копенгагенский конгресс Интернационала. (Голова Ленина была перевязана от острой зубной боли.) Ленин уже прослышал, что в немецком «Форвертсе» будет громовая статья Троцкого — и против меньшевиков, но особенно против большевиков и эксков (Троцкий этим ударом думал отсечь от партии крайности и сплотить середину), — прослышал, испугался и теперь настаивал: телеграфно задержать статью. А Троцкий — твёрдо отказался. Сразу же Ленин устроил общепартийное осуждение статьи — ещё и не читая её, и Зиновьев доказывал, что и читать не надо, чтоб осудить. (А Плеханов хотел потом устраивать над Троцким и формальный партийный суд, — вот так-то действовать между двух крыл.)

Да, у Ленина — бешеный организационный напор и кабанье упрямство. А культурное развитие — ведь совсем малое, не начи-

тан. Лишён образности, яркости. Да поразительно необъёмен: как будто истолакивает весь сочный мир в сухую плоскость. А в решающие часы — да и трусоват. Ну как можно было так ничтожно не вмешаться в Пятый год? (А ревновал к Совету.) После Пятого года Троцкий ощутил себя ветераном, и уже не моложе на десяток лет, разница сгладилась.

А с другой стороны: Ленин сперва долго не щадил усилий привлечь Троцкого на свою сторону, верно говорил: с Мартовым вам не по пути, он «мягкий». (Из остроумных гипотез и предложений Мартова Ленин тоже черпал, сколько ему нужно, — а самого Мартова отшвырнул.) Это именно Троцкий отталкивался от Ленина, не хотел подчиниться.

А теперь, если оглядеться и вдуматься, так и переворот в «Искре», освободиться от Аксельрода и Засулич, — это было организационно необходимо: старики застряли в подготовительной эпохе. Они негодовали: как мог решиться на бунт недавний ученик? А Ленин в той ещё смутной обстановке, подминая под себя сегодняшней день, уже врезывался мыслью в завтрашний! Жестокий централизм! — это Ленин понял раньше всех. (Хотя и Троцкий уже тогда считал себя централистом — а всё ещё не понимал, какой напряжённый и повелительный централизм понадобится революционной партии, чтобы вести в бой миллионные массы против старого общества.) Да верно, верно Ленин понял ещё в 1903: руководящая осознающая партийная группа — конечно, и может, и должна говорить от имени ещё незрелого класса, — потому что она всё равно выражает его объективные интересы. И когда он говорил: «Мы, ЦО за границей, идейно сильнее, чем ЦК в России, и руководить должны мы», — тоже ведь правильно.

А разве он был неправ с *эксами*? Загадочно улыбался крикам на V съезде — и продолжал. Орлино. Конечно прав: партии нужны деньги, и просто ребяческая недоумица — не брать их у царского правительства или богачей. Демиург революционного процесса — всюду берёт как имеющий власть. (И зря, зря горячился Троцкий в «Форвертсе».)

Ленину понравилось, когда Засулич сказала, что у него — мёртвая хватка бульдога.

Что Ленин весь всегда только в организации, в размежевании, в обмежевании своих — долго казалось Троцкому скучно, даже отвратительно: где же яркая личность? личный успех? Как

может в великом революционере жить педантичный нотариус? А опять-таки верно: вот — у него послушная партия. А Троцкий — всё в одиночках.

И с какой великолепной уверенностью он проехал через Германию, заранее не считаясь ни с каким воем шавок. (И правильно! И Троцкий, если б из Швейцарии, — тоже бы должен так. Галифакс — как раз доказательство от обратного: вот так имей дело с союзниками.)

Да сейчас, в самый острый момент, — ведь сходство по всем пунктам. Прочёл тезисы, оглашённые Лениным, — согласен с каждым! И бросать войну любой ценой, и как можно быстрее. И отметить Временное правительство. И вся власть — Советам. И сама же перманентность революции: именно теперь и двигать её, не оглядываясь. И — брать власть! Классовая борьба, доведенная до конца, — это и есть борьба за государственную власть.

И парадоксально: сперва — вся партия взбунтовалась против тезисов Ленина. Никто не согласен был с ним отначала и слитно — так, как Троцкий.

И — как же им теперь не соединиться?

Упоительно тянет — соединиться. Зачем — конкуренция?

Нет, Ленина не миновать.

Но только не продешевиться! (Прислали на вокзал какого-то Фёдорова.) Не идти с протянутой рукой, а то подомнёт без остатка.

Сближение надо произвести достойными шагами.

Апрельские уличные схватки — уже были репетицией будущих боёв. Расщеплённость власти сегодня — предвещает неизбежность гражданской войны. Желанной войны! И надо быть готовыми к любому подвигу в ней. И к любой твёрдости.

Революционные правительства тем великодушней, чем мельче их программа. И наоборот: чем грандиозней у них задачи — тем обнажённой диктатура. И только так движется История. Марат поэтому и оклеветан, что чувствовал жестокую изнанку переворотов.

Революция — это смирительная рубашка на противящееся меньшинство.

И уже сегодня проступает её стальной натяг.

<...>

А самый важный — Троцкий. Ни молчать, ни бездействовать он не будет. Опасен.

Очень наглый.

Сегодня послал встретить его на вокзал — не от ЦК, но от ПК. Троцкому нужно дать доброжелательный жест. Но умеренный.

По сути — позиции наши с ним сейчас очень сходны.

Конечно, трудно простить ему, сколько он писал — против.

Но если требует момент.

Людей — нет.

Конечно, какой он революционер? — он хлипок для этого. Он — неудавшийся писатель. Но и писатель — небрежный в деталях, неряшливый в мысли, монтирует наспех, чередование меткостей и небрежностей, нет дисциплины ума. Может не вдуматься и о глубококом вопросе болтать как о проходной пошлости. В сущности, он и есть — балалайка.

И мастер подтасовок. Профессиональный лгун.

Но — и какой же оратор! Как эффектно было бы сейчас его использовать. Динамичная сила.

И — свободен от всяких предрассудков.

Во врагах — он опасно остр.

А в союзниках — непереносим.

Но, хорошо представляя его слабости, его безпредельную амбицию, можно умело им руководить, так что он не будет этого и понимать: всё время на первом плане и упиваясь собой.

Умные негодяи всегда очень нужны и полезны.

<...>

А Троцкий уже — вот, вышел на эстраду и стоял, в ожидании, пока его представят залу. Он был роста немного выше среднего, а держался очень выпрямленно, как бы выше себя, ещё возвышаемый обильной колеблемой вьющейся шевелюрой. Она ли покачивалась, он ли весь, — но в этом был подготовляемый шаг на трибуну, и отражался в сдерживаемой улыбке длинных губ. И только подпорчивало пенсне да внизу лица непропорционально маленькая негустая бородка, а то всё вместе было — напряжённость, но и надменность, совсем не как представляемый новичок.

Чхеидзе слабым голосом объявил, что сейчас выступит вождь Первой Революции, последний председатель 1-го Совета рабочих депутатов... — и отдельные голоса, вероятно предупреждённые, закричали:

— Троцкого! Троцкого! Просим товарища Троцкого!

И Троцкий — легко вышагнул к трибуне, теперь Церетели видел его только сзади, с плеча, — и заговорил на весь зал металлическим голосом, ясным звуком, — и сразу стихли всякие разговоры.

— Товарищи! Наша русская революция потрясла не только Европу, но и весь мир! Она застигла нас, группу изгнанников, в Нью-Йорке — и даже там, в этой могущественной стране, где царит буржуазия, — и его голос сразу налился негодованием, — даже там она глубоко отразилась на рабочих. Вы почувствовали бы гордость, если бы видели тех рабочих. Вы бы тогда почувствовали судьбу всего мира!

И уже руки его начали взлетать в жестах, и как будто были удлинены — туда дальше, во весь мир (но слишком выскакивали длинные манжеты, он досадливо подтягивал их). И, содрогаясь сам от взрыва внутреннего снаряда:

— Бр-рошен факел революции в пор-роховой погреб капитализма!! Наша революция открывает новую эпоху *крови и железа*! Но уже в борьбе не наций против наций — а класса угнетённого против классов господствующих!

Эту *кровь и железо* он провещал с ужасной полнотой звука и чувства. Чеканные его фразы хлестали кого-то невидимого как щёлкающие бичи, в нём была картинная мощь! — Троцкий весь выбрасывался вслед ударам, весь отдавался речи, — и в благодарность зал отдался оратору, только сейчас осознав, какое же великое они творят в эти будни, сами того не подозревав, — так буденно все говорили до Троцкого.

— Наступает новая эпоха борьбы — борьба всех, прижатых к земле! Повсеместный подъём всех эксплуатируемых и обманутых! И на десятках митингов американские пролетарии просили меня передать пламенный привет своим русским братьям!

Аплодировщики — так и взорвались. А оратор чуть вздрогнул или встряхнулся, уже поняв, что он владеет Советом, что он вождь, — и от темпераментного первого *presto* отпустил в *andante*:

— Дальше я имел случай прийти в соприкосновение с пролетариями немецкими. Вы спросите: где? В лагере военнопленных в Канаде, куда нас как врагов заключило английское правительство капиталистов, — не хотело нас пропустить в Россию за то, что мы не империалисты.

Крики: «Позор!»

— В этом лагере было 100 военнопленных немецких офицеров и 700 матросов-пролетариев. И они сказали нам: «Мы — рабы нашего кайзера». А мы стали рассказывать им правду о русской

революции, читали им лекции. Но германские офицеры пожаловались англичанам, что мы подрываем веру в кайзера, — и английский комендант запретил мне читать рефераты. Но когда я уезжал из того лагеря — 530 человек, выстроившись шпалерами, провожали меня и кричали: «Долой Вильгельма! Да здравствует международное братство народов!» И мы убеждены, что все немцы и все народы восстанут — и произойдёт чудо освобождения! Человечество — движется вперед жертвами!

Густые аплодисменты. Зал был опалён. А Церетели — загрустил, как уводят ослеплённую массу от равновесия. Массе оратор пришёлся — а Ираклию резало глаза его актёрство, позёрство, его наигранная, лихо-чертовская манера. А ведь Троцкий теперь может оказаться в головке Исполкома — и замотает революцию.

Теперь, уже в ореоле, Троцкий перешёл к сути сегодняшнего заседания:

— Не могу скрыть, что я не согласен со многим, что было сказано здесь. Тут жаловались на двоевластие. Но Совет рабочих и солдатских депутатов представляет подлинную демократию. А если социалисты войдут в буржуазное правительство — разве это спасёт от двоевластия? — нет, только борьба перейдёт внутрь правительства. Двоевластие произошло от столкновения двух разных непримиримых классов — и они так и останутся двумя разными непримиримыми. Такова классовая анатомия. Вхождение в министерство — опасно! Я должен сейчас предупредить вас, товарищи! Мы должны это все осознать.

Едва пришёл — и сразу всё подрывал.

Властно стоял над залом:

— Конечно, и этот опыт не погубит страну, ибо революция слишком сильна! Я — верю в чудо! — но не сверху, а снизу. От пролетарских масс.

И вот как надо решать этот вопрос. И вот как. Ещё суток он не пробыл на русской земле, а уже диктовал:

— Тут — три заповеди! Первая заповедь: недоверие к хищническим имущим классам, недоверие к буржуазии. Помните, что они каждым шагом ищут, как обмануть нас, трудящихся, рабочий класс и крестьянство.

Ну, допустим.

Зал зарился. Только на лицах поразвитей — недоверие.

А Троцкий — звенел уверенно:

— Вторая заповедь: строжайший контроль над собственными вашими вождями! Не надо думать, что ваши нынешние вожди всегда правы и всё знают правильно. Они тоже могут ошибаться.

Круто взял. Да он что ж — идёт нас всех отстранить? Он, кажется, откровенно хочет власти. Недоумение в зале. Ни одного одобрительного движения.

Недоброжелательно поёжились и в президиуме.

И — куда он влечёт неразумно? Вот это и значит: нет в нём поправляющей интуиции, заносит его.

А Троцкий, остро поданный вперёд, с уже взметенной рукой, хотел выразить больше, чем сказал? ещё?

Но нет. Вдруг на этом самом опасном взлёте — ему не хватило воздействия. Как будто надломился.

Вобрался. Удержал себя:

— А третья заповедь — доверие к своей собственной революционной силе. И наш совет: пусть следующий ваш шаг будет — к полному завоеванию власти пролетариатом! Да здравствует русская революция как пролог ко всемирной социалистической революции!!

И отошёл. В аплодисментах. Но проводили его — холодней, чем встретили. Нет, к счастью, речь его надорвалась.

<...>

